

Тысяча девятьсот восьмой год. Октябрь. Писк новорожденного младенца. Родилась Женечка Белькинд — пятая дочка Мэры-Иты и Якова-Израиля Белькинд. Назвали русским именем — Евгенией. В честь погибшего друга Якова-Израиля. Младенец — с длинными волосами, очень красивый. Яков-Израиль не налюбуется и прячет прокламации в колыбельку ребенка. Пришедшие жандармы даже не подходят к колыбельке. Так Женечка становится «революционеркой» с рождения.

Яков-Израиль — профессиональный революционер. Эсер. Эсеры — партия социалистов-революционеров. До семнадцатого года — на нелегальном положении. Выражают интересы мелкой городской и сельской буржуазии. Но Яков-Израиль не буржуа. Он — сапожник и флейтист. Распространяет прокламации и литературу. Делает это честно и рьяно. В промозглую декабрьскую ночь сильно просту-

живается — скоротечная чахотка. Ему всего тридцать три.

Мэра-Ита остается с пятью девочками, старшей из которых — семь, младшей — Женечке — два месяца. Как живут? Так и живут. Все — с иголки Мэры-Иты: первоклассная портниха. Шьет все — от белья до пальто. Обшивает всех станционных модниц.

Орша делится на станционную часть и собственно город. Они живут на станции. Железнодорожный узел очень значимый.

Мэра-Ита — не красавица: обыкновенная еврейская женщина, уже замученная нуждой и работой. А вот Яков-Израиль был красавцем: светло-русые локоны обрамляли лоб, огромные серые глаза глядели из-под черных пушистых ресниц. В семье потихоньку говорили, что мать, бабка Жени, нагуляла его с русским студентом. Так это или не так — кто теперь разберет...

Официальным отцом Якова-Израиля является Мойше-кantonист. Его так и зовут. Кantonисты — это

те, кто оканчивал специальные школы, то есть учебные заведения низшего разряда для солдатских детей. Как попал Мойше в такую школу, никто не знает, но школа давала элементарные общеобразовательные знания. Причем на русском языке. Так что Мойше прекрасно говорил по-русски и научил Якова-Израиля.

Как всякий солдат, выпивал в праздники и выходные не больше соточки (сто граммов) и уже с нее — соточки — мог завалиться в канаву. Иногда с Женечкой на руках. Внучку любил без памяти. Мэра-Ита ругала его, конечно, называла пьяницей.

Женечка была копией отца, но темненькая. Старшие сестры — Циля, Рая, Рива, Йоха — были похожи на мать.

Женечка была прелестна. Темные кудри обрамляли матовой белизны личико. Пряменький тонкий нос, алые губки и большие серо-голубые глаза, опущенные мохнатыми ресницами. Лицо прекрасно, но девочка при ходьбе

переваливается как уточка. Местный врач сказал: врожденный вывих тазобедренного сустава. Поможет только операция. Надо ехать в Питер.

Петербург — когда Мэра-Ита решается на эту поездку — встречает хмурым ноябрьским дождем, а еще — погромом. Шел девятьсот тринадцатый год. Какой-то рабочий потянул Мэру-Иту за толстую черную шаль, что укрывала ее и ребенка, и сказал: «Бежим, бежим. Надо прятаться. Не то убьют. Идем ко мне. А там посмотрим». Так Мэра-Ита попала к Ивану Васильевичу Расторгуеву, жившему на Васильевском острове. Несколько дней, пока все не утихло, прожили они у Расторгуевых. Тогда русские евреев спасали.

Иван Васильевич устроил Мэру-Иту портнихой в семью генерала, который жил неподалеку в собственном доме. Мэра-Ита была счастлива: генеральша обещала позаботиться о девочке. Женечка уже очень чисто говорила по-русски.

Генеральша сдержала слово. Женю оперировал профессор Вреден — лейб-хирург Его Величества. Год пролежала девочка в гипсовой кровати. Мэра-Ита уехала в Оршу: там оставались еще четыре дочери.

Каких только игрушек и сладостей не приносили генерал с генеральшей! Очень привязались к ребенку: были бездетны. Когда пришло время выписывать девочку, Мэра-Ита приехала в Питер. Чуть ли не на коленях умоляли господа отдать им ребенка. Говорили: «Мы уедем из России, Женя забудет все, что с ней было, дадим прекрасное образование...» Бабушка отвечала: «Нет. Женя разделит судьбу своих сестер. Что будет с ними, то и с ней». Гордой была Мэра-Ита. Недаром, когда работала — шила — тихонько пела:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Операция не помогла. Женя осталась хромой, хотя ходила тогда без палки. Палочку взяла только в сорок первом, перед самой войной, после очень сильного обострения.

Осенью семнадцатого года Евгения должна была пойти в первый класс гимназии: прошла десятипроцентную норму (эта норма была для еврейских детей). Уже сшили из лапсердака Мойше школьную коричневую форму, уже был накрахмален белый фартук, но... революция. В станционную Оршу она явилась тут же.

Пришлось идти учиться в школу-девятилетку, которую организовали на базе гимназии. Женя горевала: хотелось стать гимназисткой...

Училась хорошо, была способной. Немножко с трудом давалась математика, но помогал Ося-другок. Дружили с «горшкового» возраста. В четырнадцать лет вступила в комсомол. А как же? Во-первых, вступали все «передовые». Во-вторых, Троцкий и Ленин прямо указывали путь в светлое коммунистическое будущее. Не за это ли боролся ее отец?!

Приблизительно в то же время прорезался прекрасный голос. Пели с подружкой Хавой на всех вечерах — на два голоса. Пели революционные песни и романсы, что слышали из открытых окон оршанско-станционных жителей. Однажды темной июльской ночью их услышал какой-то пожилой господин, одетый не по-здешнему. Сразу выделил Женю. Предложил помощь, если поедет в Питер учиться, но... Когда увидел, что девочка хромая, тут же осекся. Артистку бы из нее не сделал.

Голос у Жени был поставлен от природы. Сильный, красивый, и я, наглая, это с малолетства понимала, когда заставляла мать: «Пой!»

Тихонько покачивая мою кроватьку, она пела:

Моя снежинка, моя пушинка,
Моя царица — царица грез.
Моя снегурочка, моя кристальная,
К твоим ногам я б жизнь принес...

Этот романс Бориса Прозоровского люблю до сих пор. Вижу свою красавицу-маму, убаюкивающую ребенка.

Как-то спросила отца, почему он женился на калеке и еврейке. Отец очень обиделся и сказал, что прекрасней Жени он женщин не встречал.

Однако в Питер после окончания школы Евгения все-таки уехала: обещал помочь с работой и дальнейшей учебной соседский парень, который к этому времени уже окопачивался в бывшей столице. Господи! Как же намыкалась девочка!.. Уже был декабрь. Трамвай увез ее совсем в другую сторону. С плачем шла она по темной, морозной питерской улице. Увидели две женщины — с какой-то фабрики. Привели к себе, обогрели, а главное — накормили. Несколько дней она ничего не ела. Сказали: «Женя, хорошего без специальности в Питере не найдешь. Только сволочь какая-нибудь искалечит — изнасилует. Вот деньги на билет. Уезжай к матери, в Оршу. Там будете думать...»

Весной Женя уехала из Орши в Нижний Новгород: в Нижнем жила сестра Йоха, уже вышедшая замуж. Муж ее, Семен, прекрасно относился к свояченице, а вот сама сестрица... Много натерпелась Женя, много слез пролила. Но весной двадцать седьмого сдала вступительные экзамены в Казанский университет, на медицинский факультет. Хотела быть врачом и только врачом.

В двадцать восьмом, маме было уже двадцать, встретились они с отцом. Он был на четыре года старше. Расписались. Дали им в Пассаже крохотный узенький

пенальчик, но... с окном. Отец жил до того у хозяев, на квартире. Мама была комсомолкой: пожалели. Жизнь молодая. Не было никаких предохранительных средств — забеременела. Голодали. Началась «куриная слепота». Профессор сказал отцу: «Немедленно аборт, иначе потеряете жену». А был мальчик... В ноябре тридцать первого родилась я. Но сила меня мама тяжело, с токсокозом. Рожала в муках. Я родилась восьмимесячной.

Ни года, ни месяца не пропустила Женя в занятиях. Успевала все. Отец к этому времени уже окончил университет. Работал на пороховом заводе. Взяли в няньки девочку из деревни, которая «накладывала» в помойное ведро, и все это воняло, пока не приходили родители.

В тридцать втором мама окончила Казанский мединститут (медицинский факультет выделили из университета). Большая папка с дипломом, напечатанным «золотом» на русском и татарском языках, лежит у меня в портфеле для старых документов. В годы «космополитизма», уже в Кокчетаве, в горздраве инспектор спросил: «Это в какой же такой загранице кончали высшее учебное заведение?» Маму тогда не тронули.

Казанская школа медиков очень славилась — не хуже питерской и московской. Профессура была отменной. Выучку получила прекрасную, тем более что окончила и ординатуру при Шамовской клинике. Поэтому когда пришлось срочно уезжать из Казани, маме не составило труда устроиться на новом месте. Таким местом стал Бобруйский военный госпиталь.

В госпитале очень хорошо относились к Евгении Яковлевне Энгельгардт: мама взяла фамилию мужа. Несмотря на хромоту, назначили начальником командирского отделения — отделения,

где лечился весь комсостав. Без концлаг, к каждому празднику, награждали всякими грамотами, подарками. А я в Бобруйске каталась как сыр в масле: рядом была Циленька, мамина старшая сестра. Она с семьей жила на Социалистической улице, в самом центре, глубоко во дворе, в домике у тети Хаси. Две самые светлые комнатки занимали Мадорские. Мы с Циленькой ходили на базар, и однажды какая-то тетка, желая перехватить у нас курчонка, заорала: «Везде эти жида лезут!..» Я обрезала тетку: «Мы не жида, мы — еврей!» Тетка отвалила.

Циленька прекрасно говорила по-русски, потому что окончила русскую школу, но с тетей Хасей они разговаривали на идиш. Тетя Хася, обращаясь ко мне, говорила: «Майне кецеле, Маша мидецепелех (Маша с косичками), шикса». Что такое «шикса», так и не выяснила до сих пор.

Приходили друзья Яши, старшего сына Цици. Возились со мной, катали на велосипеде. Они уже учились в десятом классе.

Все, весь мир перевернула война. Бобруйск был захвачен немцами уже двадцать шестого июня. Дядя Юда, муж Циленьки, еще до войны был мобилизован на строительство подземных аэродромов под Брестом и когда прибежал в город, чтобы узнать, что с семьей, Иваниха, соседка, жившая на задах в каком-то курятнике с пьяницей-сыном, привела в дом тети Хаси немцев-мотоциклистов. Она сказала: «Юде, юде...», и тут же, на крыльце, они расстреляли моего дядьку, которому было сорок пять лет.

Брат Яша в начале сорок шестого специально приезжал в Бобруйск, чтобы узнать, как погиб отец. Иваниха, завидев офицера в майорской форме (Яша был военным инженером), упала перед ним на колени. Яшка плюнул,

выматерился и не стал связываться с этой падлой.

Мы уехали из Бобруйска перед самой войной. Папу еще зимой сорок первого, в январе, перевели в другой город на аналогичный гидролизный завод. Мама где-то в марте свалилась с жестоким обострением — нога. И комиссар госпиталя сам приехал к нам домой со словами: «Женя, завтра пришлю красноармейцев. Они запакут все ваши вещи. Уезжайте! Уезжайте немедленно. Не сегодня-завтра — война». Люди, особенно военные, знали все...

В Саратове, куда перебрались в начале мая сорок первого, мама не успела устроиться на работу. Решила хоть немного отдохнуть. Жили в коммунальной комнате. Обещали квартиру. Я окончила второй класс с похвальной грамотой. Все было прекрасно, но нет... Беспокойство, какое-то беспокойство витало в воздухе. Утром бежала в соседний киоск за газетами и жадно накидывалась, пока не прочитывала от корки до корки.

И вот утро двадцать второго июня. Помню, как будто было вчера. Прибежала Олечка Иванова, дочка главного инженера завода. Сказала, чтобы быстрее все шли к ним: у них был приемник. Мы побежали. Голос Молотова был глухой, сдавленный. Сказал: война... Я почему-то в голос заревела. Мужчины начали собираться на завод, хотя был выходной день. Мама плакала оттого, что уже бомбили Бобруйск: там оставались Циленька с Саррой.

Маме принесли повестку в военкомат. Утром не отпустила мать, поплелась с ней. Вперлась даже в кабинет, куда вошла мама. Военком резко приказал: «Бросьте палку! (Мама после последнего обострения ходить без палки уже не могла.) Оставим вас при городском госпитале, — ска-

зал он и ласково посмотрел на меня. — Вот и помощница подросла». Велел ждать повестника.

Черные-пречерные добрались в Саратов Цилия с Саррой только в середине августа. Двести километров, до Рогачева, шли пешком, а там — эшелонами. Я повела Сарру в свою школу записываться в десятый класс: ей было шестнадцать. Цильенька с мамой хлопотали по хозяйству: начались страшные очереди. Продуктов уже почти не было.

Седьмого сентября пришла из школы и застала отца дома. Он лежал, свернувшись калачиком, на сундуке. Испугавшись, спросила, что случилось. Папа заплакал. Никогда не видела отца плачущим. Сказал, что у него отобрали заводской пропуск и высылают неизвестно куда. Мы — я, мама, Цилия, Сарра — можем не ехать, но из комнаты нас выгонят: комната заводская. Я тоже заревела и сказала отцу, что поеду вместе с ним. Папа обнял и поцеловал.

Высылали отца за то, что в паспорте у него в графе «национальность» стояло «немец», хотя немцем не был. Был поляком. Это была ошибка, но... роковая. Отец винил себя за то, что не добился исправления. Вечером, на семейном совете, решили, что поедем все вместе: в войну разлучаться не следует.

Привезли в поселок Айдабул, что в Северном Казахстане, за девяносто километров от станции. Дали маленькую комнатку над почтой. Велели отцу назавтра прийти на завод. Сарра пошла вместе с ним: продолжать учебу не хотела. Сказала, что сама будет зарабатывать на жизнь.

Мама пошла к местной фельдшернице-акушерке Матрене Ивановне, и та сказала: надо ехать в Зеренду (районный центр) на поклон к райздравше Маруське. Так и сказала. Не удостоила имени и отчества.

Папу и Сарру назначили в транспорт: возить на быках дрова из леса. Быки никак не шли, пока отец не начал их материть. Тут они чуть ли не побежали. Две недели проработали они с Саррой там. Потом на фронт забрали завхимлабораторией, и отца назначили на его место. Сарру посадили счетоводом — грамотная.

Мама уже всюю разъезжала по вызовам, и у нас появилась хоть какая-то еда: денег никаких не платили, а больные, местные, зная это, давали кто что может. Местные жили хорошо.

При производстве спирта были отходы — барда. Спирт делали из зерна и картофеля. Бардой кормили скот. Зерно, муку продавали местные колхозы. Но денег не было. Мы же перебивались, как могли. Никто о нас не думал. Могли и подохнуть. Но это уже никого не касалось...

Я пошла в третий класс местной школы и тут же получила «посредственно»: учительница исправила правильное на неправильное. Словарей у меня не было. Пришлось маме идти объясняться.

Сызмальства мать старалась приучить меня не бояться крови, открытых ран и всяких медицинских манипуляций. Наверно, втайне, про себя, думала, что когда-нибудь стану врачом. Летом, в каникулы, всегда ее сопровождала: было и необходимо, и интересно, и можно было подкормиться — яичницей, молоком, а иногда даже сливками.

Ребятишки летом травились беленой: у нее сладкий корень. Сахара не было. И фруктов тоже. Они, детишки, становились страшными — как пауки. Абсолютно безумными. Если вовремя не промыть желудок — летальный исход. И мы мыли... Я, конечно, ассистировала. Было мне тогда одиннадцать лет.

Однажды с матерью здорово перетрухнули. Выехали из Вик-

торовки поздно. Ночь — безлунная и беззвездная. Лошадь хорошо знала дорогу, мы ею даже не управляли. Но... вдруг она вздрогнула, захрапела и понесла куда-то в сторону: две зеленые светящиеся точки следовали за нами. Мама сообразила поджечь сено, что было в кошевке. Волк отстал. Мы бросили поводья и отдались на волю Провидения. К рассвету оказались черт-те где от нужного пункта.

Мама страшно уставала: на округу в двести километров была единственным врачом. Иногда, если имелась хоть какая-то передышка, приезжала домой поесть и часочек отдохнуть. Но не давали. Особенно настырным был старик-казах — оспопрививатель. Он являлся чуть ли не каждый день. И если Цильенька говорила, что мамы нет дома, тут же, хитро прищурившись, заявлял: «Зачем врешь, зачем обманываешь? Нехорошо. Во-о-н третий нога стоит...» — и показывал на палку. Приходилось маму поднимать.

Весть о том, что в Айдабуле появился настоящий доктор, распространилась быстро. Дошла до Кокчетав, и наш «душеприказчик» — энкавэдэшник — велел собираться. В начале сорок третьего переехали в Кокчетав. Цилия и Сарры с нами уже не было: Яков, окончив академию, выхлопотал их в Казань, куда был распределен военпредом на приемку самолетов. Он женился и ждал ребенка.

В Кокчетаве платили зарплату и был рынок. Сняли комнатку у Никитиных. Зажили по-людски. Маму, сосланную, даже назначили завполиклиникой. Отец устроился завхимлабораторией на северо-казахстанскую гидрогеологическую станцию. Начальник его — Рейсгоф — был таким же сосланным, как папа.

Маме дали лошадь с кошевкой, как и в Айдабуле. Конюх только запрягал и утром подавал.

Мать очень любила и жалела Черныша, который целый день возил ее по городу, а чтобы как следует подружиться, выносила ему торбочку с кусками чуть присоленного хлеба. Черныш тут же их схрумкивал и благодарно лизал руку. Потом они работали. Благодарность животного была искренней...

В Кокчетаве маму заставили работать в санчасти МВД-МГБ. Врач хороший им тоже был нужен. Более того, она, сосланная, возглавляла комиссию, решавшую, кому из них служить дальше, а кого выгнать. Господи! Как же они пресмыкались и подхалимничали... Противно было смотреть. Потихоньку притаскивали шоколадки и флакончики духов. Мама на таких кричала и выгоняла. Все они, за редким исключением, были ничтожествами.

Мама была смелым человеком. Не боялась мордухаев. Говорила вслух, что считала нужным. Отец предупреждал: «Женя, прикуси язык! Прикуси язык! Посадят». На что мать отвечала: «Плевать хочу на эти рожи: они от меня зависят. Я их лечу...» В Айдабуле выгнала из амбулатории энкавэдэшника, который ночами в ней устраивал явочную квартиру. Орала так, что он струсил. Они ведь все были трусами...

Не испугалась (уже в Кокчетаве) и зампредисполкома, который где-то в командировке нахватался от баб-казашек мандавошек. Когда мать сказала, что нужно пробрить это место и тщательно вымыть, он предложил это сделать ей. Вне себя от обиды и гнева, мама обложила его трехэтажным матом, на какой только была способна. Ничего. Съел...

Благодаря работе мамы в санчасти МВД-МГБ меня выпустили на учебу в Казань. Отец очень

просил, чтобы подала документы в мединститут, но я упрямо заявляла: «Ни за что! Только литература!..» Но уже на втором курсе университета поняла, что сделала глупость. Было поздно: из-за нашего положения изменить ничего было нельзя.

Мать молчала. Потом, уже после смерти отца, спросила, почему так себя вела. Мама ответила: «Слишком тяжелая ноша, если быть настоящим врачом. Врач должен умирать вместе со своим больным. Не хотела тебе такой доли».

Смерть отца перенесли тяжело. Он умер в одночасье на пятьдесят втором году жизни. Хоронил его весь город: маму знали все. Помогли — кто чем мог. Решили тут же уехать из Кокчетавы. Обе были уже свободны.

Калининград встретил сумрачными дождями. Мне пришлось побегать поискать работу, а мама уже всюду трудилась рентгенологом в Московском районе города. Толпы больных. Старый рентгеновский аппарат, тяжелейшие просвинцованные перчатки, облучение. Потом переход в онкологический диспансер на «пушку». Все это не прибавляло здоровья. Попала на операцию в Ленинград, в Военно-медицинскую академию. Пролетжала полгода.

Мой муж поступил в аспирантуру в Москве (он — москвич), и мы обменяли Калининград на Химки. В Москве мама уже не работала: начало сдавать сердце. Сидела, ждала, когда придем мы с работы. Очень тосковала без дела.

Уже здесь, в Москве, часто говорили с ней об антисемитизме. Мама видела и чувствовала, как мне обидно: работаю не меньше, а больше других (опыт), получаю вдвое меньше. Не хотели

аттестовывать, присваивать звание. Контора, где работала, была военной.

«Понимаешь, — говорила мать, — еврейя очень завидуют: умные, способные, не лентяи. Быстро, хорошо и точно соображают. Поэтому, не смотря на еврейство, все-таки получают в жизни какие-то места. А разве пьяница и лентяй будет винить себя? Это ему несподручно. Ему лучше найти козла отпущения. Таким козлом всегда становятся жида. Что делать? Что делать? И в этом дерьме надо жить...»

Никогда мама не заговаривала со мной о Боге, хотя, как и все, в речи поминала Господа. Не знаю, была ли атеисткой — все-таки врач, — но под конец жизни часто произносила: «Вот сижу на лавке с простыми русскими женщинами, и они рассказывают про престольные праздники, про церковь. Завидую».

Я предлагала взять такси и отвезти в синагогу. Она отказывалась. Говорила, что там полно филеров, и это противно. Так и похоронила ее: никто не отпел — ни поп, ни раввин.

Сталина ненавидела. «Подумаи, — говорила она, — такая тварь сидела у нас за бога тридцать лет. Если сосчитать убитых только приблизительно, со счета собьешься, а если прибавить еще тех, кто духом был искалечен? Ну и подох он от общей ненависти. И ненависть эта шла как излучение...»

Ах, мама-мамочка! Ночи не бывает, чтобы не привиделась ты мне. Страдалица, выдержавшая все муки — физические и духовные. Царствие тебе Небесное, моя родная, моя бесценная... Прости...